Михаил Пришвин

Лисичкин хлеб



Михаил Пришвин

Лисичкин хлеб



Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1985

Р2
П77

Текст печатается по изданию:
Пришвин М. В краю дедушки Мазая. М., Сов. Россия, 1971.

Художник И. М. Гирель

Пришвин М. М.
П77 Лисичкин хлеб.— М.: Сов. Россия, 1985.—32 с.

В сборник вошел цикл рассказов «Лисичкин хлеб».

П $\frac{4803010102-255}{М\text{-}105(03)84}$ 222—84

Р2



«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»



В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите!»

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная птица-курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку, и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый

вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — сейчас, наверное, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ



Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.

— Это что за птица? — спросила Зиночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева, как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягодка костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке, и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся, — ответил я. — Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес, — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидела у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста...

— Заячья...

— А хлеб лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть.

— Хороший лисичкин хлеб.

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, капуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

СТАРУХИН РАЙ



тарушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова: нездорова была.

— Видно, делать нечего,— сказала старушка,— пришел мой час помирать.

Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть.

— Не два же века жить,— сказала она себе,— надо и молодым дать дорогу.

И увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой-муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку. А посередине была старая развале́нная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе.

— Не два же века жить! — повторила она.

И легла туда, в прутики, сама, ноги же вытянула на тропинку: пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху.

Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке и видим: человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке, воробушки так, бывает, соберутся кучкой и, как дружные люди, между собой наговориться не могут: «Жив!» — говорят; вроде того, как бы радуется каждый, что жив, и каждый об этом всем говорит.

Но вдруг все эти воробьи — пырх! — и улетели. А на месте их, среди былинок, показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она ожила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать.

— Вот, милые охотнички,— рассказала она,— закружилась у меня голова, и я думаю: не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки. И стало мне хорошо, как в раю. Так и подумала, что все кончилось мне на земле. И тут прилетели птички: думаю, наверно, райские, вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и увертливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно — один скажет: жив! и другой отвечает: и я жив! И все так повторяют друг другу: жив, жив, жив!

Простые петушки, подумала я, тут, в раю, понимают, как

хорошо жить на свете, а у нас, на земле, люди все-то жалуются, всем-то им нехорошо.

Тут один петушок задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул:

— На, вот тебе!

Долго ли петушку, и капнул мне в самый рот, и поняла я, что не на небе лежу, на земле.

— Что ж,— засмеялись мы,— или ты думала: в раю птицы не капают?

— Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать.

ЛИМОН



одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:

— Какой же ты хотел поднести мне подарок?

— Я хотел бы,— ответил китаец,— поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.

Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собачке.

— Молчи! — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.

Но было уже поздно: Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке.

— Можно посмотреть? — спросила она, появляясь в конторе.

— Собак здесь! — ответил китаец.

— Приведи.

— Он здесь! — повторил китаец.— Не надо совсем приведи.

И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпкой ее можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазищи большие, черные, блестящие и навыкате, как у муравья.

— Что за прелесть! — воскликнула Елена Васильевна.

— Возьми его! — сказал счастливый похвалой китаец.

И передал свой подарок хозяйке.

Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили.

Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:

— Визгу много, шерсти мало!

Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.

— Нашла коса на камень! — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. — Визгу много, шерсти мало! — повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: — Ну-ка, Мишка, пыхни в него!

Мишка запел еще громче и хотел было пыхнуть, но быстро заметив, что враг от песни его даже не моргнул, он метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель как ни в

чем не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.

— А как его звать? — спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.

Китаец ответил просто:

— Лимон.

Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, желтая, и Лимон — кличка ей самая подходящая.

Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей.

В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую.

Лимон возненавидел меня, и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с коленей хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.

Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам воры или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом. И много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.

Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошел в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку.

— Ну, брат, — сказал я Лимону, — хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.

И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, я сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел: в глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные.

Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: «А что, если от страха и унижения у забияки сделается разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне?»

— Лимон,— стал я его ласково успокаивать,— не сердись, Лимон, на меня, будем друзьями.

И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами.

За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды.

— Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? — спросила Елена Васильевна.

— Ничего,— ответил я спокойно.— Наверно, он начал привыкать — и ведь пора!

Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.

— Все забияки такие,— сказал он,— и наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу — и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало!

КАК Я НАУЧИЛ СВОИХ СОБАК ГОРОХ ЕСТЬ



ада, старый пойнтер десяти лет,— белая с желтыми пятнами. Травка — рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада — спокойная и умная. Травка — бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!» — она на одно мгновенье обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь, хозяин зовет».

Сегодня я вышел из дому и крикнул:

— Лада, Травка, горох поспел, идемте скорей горох есть!

Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох:

горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается, глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберет гороху и жует, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберет весь до зернышка.

Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж, конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю — и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе. Берет. После Лады опять Травке даю. Берет. И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой — Травке. Дал по десять стручков.

— Жуйте, работайте!

И пошли жернова молоть горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец, Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.

СИНИЙ ЛАПОТЬ



Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса, и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все

заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай,— сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он,— сказал Родионыч уверенно.— Становитесь на месте, ребятушки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды нырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди,— шепчет он,— синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка — еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова...

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновенье жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба,— что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватит, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч. Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.

КОПЫТО



овно двенадцать лет тому назад, в 1926 году, я приехал в Сергиев (ныне Загорск) и несколько дней потерял там в напрасных поисках квартиры: никто не хотел пускать меня с пятью охотничьими собаками. Мне пришлось купить кое-какой домик с пустырем и тут устраиваться на долгое житье. Тарасовна, соседка моя справа, держала коз. Сосед слева был драч. К нему приводили старых и увечных лошадей, он их колол, сам пользовался мясом, шкуры отдавал хозяевам, а кости

растаскивали чужие собаки. (Теперь это давно покончено, сосед служит сторожем на бойне.) Заборов между нашими участками никаких не было. Множество обглоданных собаками и обветренных костей белелось на моем участке. Козы Тарасовны паслись и у меня и у соседа-драча, где часто их обижали шальные собаки. Из-за этих коз и собак отношения соседей были невозможные. Немедленно я обставил весь свой участок хорошим забором на дубовых столбах, кости выбросил, пустырь распахал и отделил коз от собак. В то время у меня были такие охотничьи собаки: Ярик — ирландский сеттер; Кента — немецкая легавая, континенталь; дети Кенты — годовые щенки Нерль, Дубец и гончий Соловей. Все эти собаки, свободно разгуливая на обгороженном участке, время от времени выкапывали лошадиные кости, возились с ними; ворчали друг на друга. Заметив кость у собак, я немедленно отнимал ее и швырял через забор обратно к соседу. Мало-помалу таким образом были уничтожены все следы прошлого беспорядка, после чего мы купили петуха, и все пошло хорошо: петух закричал, и дом наш начал жить.

В летнее время, между весенней и осенней охотой, я писал свои рассказы под единственной липой на огороде, возле забора, на простом столике с врытыми в землю ножками. Над столиком у меня висела трапеция; пописав, я кувыркался, подтягивался, поливал огурцы, тут же пил чай, опять писал, и так жизнь проходила, как мне желалось. Одно было неважно, что собаки мне очень мешали писать. Это понятно, что я был для них притягательным центром: они возле меня то играли, то ссорились и пыль поднимали ужасную. Надо бы их разогнать, но как-то все не мог собраться круто расправиться с друзьями, тем более что глядеть на игры их мне иногда бывало интересней, чем даже писать. Пылища при играх душила меня, при ссорах обиженные жались к моим коленкам. Я должен судить, наказывать виновных. Так по слабости запускал отношения с собаками, а потом злился, и это больше всего мешало моим занятиям.

Случилось однажды: Кента недалеко от липы выкопала из-под земли лошадиное копыто, давно обглоданное, без всяких признаков какой-нибудь съедобности, голое копыто из рогового вещества, с железной заржавевшей подковкой, с «конскими», пробитыми через «венец» и снаружи загнутыми гвоздями. Увидев такую дрянь, я хотел было швырнуть ее соседу через забор, но меня остановило страшное выражение глаз умной Кенты. Она глядела на старое, выветренное копы-

то с тем суеверным страхом, с каким глядят дети и необразованные люди на непонятные вещи. Поведение Кенты обратило внимание всех собак, и все они медленно и с опаской стали к ней подходить. Увидев близко от себя собак, Кента оскалила зубы, порычала, собаки замерли на месте. Немного поколебалась Кента и, разинув пасть так сильно, что даже мне стало страшно, захватила копыто и с ним залезла ко мне под столик, легла в львиной позе, а копыто положила между передними лапами. Собаки медленно, как загипнотизированные, двинулись к столику, дошли до какой-то невидимой черты, распределились по ней полукругом и, созерцая копыто, легли в тех же позах, как и обладательница открытого сокровища. При малейшем движении кого-нибудь вперед за установленную черту Кента злобно рычала, и нарушитель границы, поджав хвост, возвращался назад.

Вскоре я убедился, что организация спокойствия вокруг моего письменного стола — не случайное и не временное дело. Будь копыто хоть сколько-нибудь съедобным, напряженность собак была бы слишком велика и при первой оплошности Кенты началась бы грызня, да, наконец, сама Кента стала бы грызть копыто, и в конце концов оно было бы, как обыкновенная обглоданная и обветренная кость. Возможно, что для собачьего носа от вещества копыта, недоступного даже для собачьих зубов, исходил какой-то животный соблазнительный дух, и только благодаря такой «духовности» власть Кенты над другими собаками осуществлялась в полной тишине, спокойствии и неограниченной длительности.

У моих собак нет ни малейшего сомнения в существовании бога: бог — это я. И все сущее на земле, в том числе и копыто, произошло от меня. Бог дал, и бог взял. Так вот, окончив работу, я беру копыто и уношу с собой. На другой день вместе с бумагами и книгами я захватываю с собой из дому хранимое в особом платяном ящичке копыто. Никого я из собак не обижаю и передаю власть им всем по очереди. Выбрав очередного верховного властителя, я укладываю его под столом возле моих ног, и все другие собаки, хорошо усвоив порядок, укладываются возле столика, полукругом, принимая те самые львиные позы, благодаря которым можно мгновенно вскочить и выхватить копыто у зазевавшейся Кенты. Так, уложив собак, я открываю сейф, вынимаю сокровище, очередной счастливец начинает властвовать, а я в тишине занимаюсь своими рассказами о повадках животных.

Прошло двенадцать лет. Все собаки мои описаны: Ярик, Кента, Нерль, Дубец, Соловей. Множество книжек о них для взрослых, для детей разошлось по нашей стране, и некоторые начинают перебираться за границу. Мало того: встречаются охотники, называющие этими моими именами своих собственных собак. И сколько дружеских писем, сколько друзей! Все это, конечно, очень хорошо, и одно только плохо: всех описанных собак нет уже на свете; они создали мне дружбу с людьми и ушли навсегда. Кента умерла от сердечной болезни, и вскоре за ней внезапно от той же наследственной болезни погибли Нерль и Дубец. Соловей умер, как умирают только самые лучшие гонцы-мастера: на всем ходу за лисицей старика хватил паралич. Рассказывать о конце Ярика мне пока тяжело. Так вот кончились мои собаки, и от знаменитого сейфа осталась только плетеная коробочка вятской работы. Копыто же не только пропало, но я о нем даже забыл. По всей вероятности, кто-нибудь из моих домашних, перебирая мой хлам, выбросил эту дрянь на помойку.

На днях сижу я под своей липой, за тем же самым столиком. Четырехмесячный щенок, пойнтер, блестящей черной масти, Осман, возится со своей матерью Ладой и сибирской лайкой Бией, принимает участие в этой непрерывной возне иногда даже молодой гончий, чрезвычайно поратый англорусский Трубач. Пыль висит в воздухе, нечем дышать. Вдруг игра обрывается, и Лада начинает копать, быстро работая передними лапами. Сын ее Осман ей смешно подражает. Остальные собаки стоят в недоумении. И вот с тем же странным выражением, как было у Кенты, Лада глядит вниз и грозным оскалом зубов и рычанием отгоняет собак. Осман один только не слушается, но за это здорово ему попадает, обиженный бросается к моим ногам и визжит.

Так вновь было откопано и появилось на свет знаменитое копыто с железной подковой. И опять, конечно, я заключаю его в сейф и каждый день назначаю очередных собак верховными властителями. В тишине организованного мирка я пишу о своих новых собаках, но, признаюсь, чего-то мне не хватает. Да, никогда не вернуть теперь мне любимую Кенту, и только теперь мне стала вполне понятна примета старых охотников, что настоящая собака у охотника бывает только одна. Вот кто-то постучал в калитку. Разве в свое время Кента, услыхав стук, могла броситься к воротам и оставить на произвол судьбы таинственное сокровище?! Она бы только рычала в ответ на стук у ворот. А Лада опрометью летит к воротам и увлекает всех собак за собой. Мне удалось задержать

только маленького Османа, показать ему рукой на копыто, вообще дать понять, что пока нет никого, он легко может захватить власть. Мне было очень забавно представить себе, как этот маленький Осман с помощью копыта будет управлять большими собаками. Осман понял меня и начал тихонечко подходить. Однако, вспомнив недавнюю трепку за это копыто, он остановился и пытался, не переступая ногами, как-нибудь безопасно дотянуться хоть носом: понюхать и, если не страшно, остаться, а если окажется плохо, бежать.

— Вперед! — приказываю.

Посунулся.

— Смелее!

Задрожал. Вытянулся, насколько возможно, и, по-видимому, достиг носом недоступной нам атмосферы копыта. Однако, втянув в себя воздух собственности, он вдруг весь опал, поджал под себя свой прутик, бросился назад и спрятался в высоком картофельнике.

Собаки вернулись. Лада хватилась. Но я кончил работу и спрятал сокровище в сейф. Вот когда только опомнился от страха Осман, высунул голову из зелени и забрехал.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РУСАК



ы пошли было на беляков, но в одной деревне нам сказали, что этой ночью у них волки разорвали собаку. Мы побоялись своих гончих пускать на лесных зайцев и занялись русаками. Скоро мы увидели, как один русак, желая забраться под кручу, переходил ручей и провалился. Но Соловей не побоялся, сам пошел по следу, сам провалился, выбрался, разобрался в следах и вытурил зайца. Мы его ранили, но скорости этим на первых порах зайцу не убавили: он помчался, скрылся на горизонте за холмами. Соловей и Пальма перевалили туда и скоро вышли из слуха.

Известно, как полевой заяц-русак бежит,— всю-то округу ославит, все-то в деревнях его перевидят, всякий, у кого есть ружье, снимает его с гвоздика.

— Заяц, заяц! — орут мальчишки без памяти.

И бегут за ним по деревне — кто с поленом, кто с камнем, кто с топором.

Редко заяц достается тому, кто его поднял.

Наш раненый русак несся из последних сил полями, овра-

гами, перелесками, деревнями: в иной деревне прямо по улице мчится — и за ним собаки. Опытные наши собаки не скалывались и на дорогах, зайцу наступал конец, и он с отчаянья ударился в Дубовицах в Пахомов овин. Как раз в это время Пахом сидел возле огня и подкладывал дрова. Вдруг какая-то сила врывается, какой-то забеглый черт с длинными ушами влетел и — бах! — прямо в огонь, и так, что самого Пахома засыпало искрами и головешками.

Не помня себя, выбежал из овина Пахом и видит и слышит, как навстречу ему рубом рубят собаки. Тут только он понял, какой это черт влетел к нему, и, конечно, стал крыть нас, охотников, из души в душу. Но пороша была очень глубокая, он понял, что мы далеко и не скоро придем. Зайца нашего он отбил у собак, отнес в избу и велел старухе спешить. Пока мы добрались, пока разобрались в следах возле овина и, наконец, все поняли, заяц у старухи в чугунке, поставленном на горячие угли, поспел. Поблагодарили мы хозяев за угощение, они нас. Тем и кончилась наша охота.

СМЕТЛИВЫЙ БЕЛЯК



риехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеич успокоил: «Снега не будет». После того начался снег. «Маленький,— сказал Агафон,— перестанет». Снег пошел большой, загудела метель. «Вам не помешает,— успокоил хозяин,— в полночь перестанет, выйдут зайцы; вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему». Утром просыпаемся — снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое, старое время.

Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему». Так терпел, терпел барин и, когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет отколотить, а может быть, и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог,—

сказал барин,— что ты вчера в яму попал».— «Счастлив,— ответил поп,— ведь я же вам и говорил постоянно, что ни делается на свете, все к лучшему».

— К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона.

— Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что все к лучшему.

Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот, если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. «Что ни делается, все к лучшему!» — весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услыхал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело, да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:

— Ну, как это ты понимаешь?

— Так и понимаю, что тоже все к лучшему,— сказал Агафон,— зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему.

ЗЛАЯ ЛИСИЦА



арсучьи норы у нас расположены в еловом лесу, на высоком яру: тут все норы барсучьи, как город, а внизу речка бежит. На этом месте покойный егерь Алексей Михайлович, помню, рассказывал один свой случай с лисицей.

— Ночевать эта лисица,— рассказывал он,— постоянно ходила в одно место, тут недалеко. Редко лыжняком лисица ходит: оттого я пересек все следы лыжей, еще подправил ке-

росинчиком, а один след не тронул и на ходу поставил капкан. Случилось, лисица и попала в этот капкан и затащила его в барсучью нору над речкой. Вырубил я крюк аршина в три, зацепил капкан, стал тянуть, да как-то оступился и аршина всего на два отъехал вниз. Сгоряча, когда меня вниз кинуло, не успел я крюк выпустить, выволок лисицу, и она с капканом на меня поехала, и, гляжу, мы с ней рыло в рыло. Лисица в капкане очень зла, глаза гуляют. Как она меня тут не изуродовала, не знаю. Бросил я тогда вниз и ружье, и крюк, перекинулся назад и покатился по яру вниз головой. Она же с капканом поехала вслед за мной. Летели мы, летели — и бух в воду, и опять в воде мы с ней рыло в рыло. Удивляюсь, прямо удивляюсь, как это она меня не изуродовала: видно, умная какая-то лисица была.

ЛАДА



Три года тому назад был я в Завидове, хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовую сучку, пойнтера Ладу.

Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желто-пегого пойнтера, а чутье и глаза — в отца, черного пойнтера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-желтыми пятнами, а три точки на голове, глаза и чутье, как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос — она сморщилась, вроде как бы улыбнулась, я еще раз дунул, она сделала попытку меня за нос схватить.

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку: а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа. И какой уж это есть человек, если ходит без носа!

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил мое внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник.— Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее, хлещи, как ни можно сильней, она все поймет.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую, самое большее, пальцем грозили. В один день умная собачка поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверное, ей досталось от деда Камбиза: чутье небывалое!

Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы ее звать, а Находкой, настоящая находка! — повторял Камолов.

Итак, мы оба очень радостные приходим в сторожку.

— А где же Лада? — спросил нас удивленно хозяин.

Глянули мы — и видим: действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, как провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже несладко. Так нехорошо, нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать,— нет, не берет.

— Только собрались Находкой назвать,— сказал Камолов.

— Не иначе, как леший увел! — посмеялся на прощанье племянник.

И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали, мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хлещи, как ни можно сильней, она все поймет!»

И поняла!

Лада теперь у меня уже четвертое поле работает отлично и по лесу и по болоту. Но самая любимая у нее дичь — это жирные длинноносые дупеля. В этой охоте все дело в чутье и в широте поиска. Охотников на дупелей великое множество, и надо успеть в короткое время обыскать места как можно больше. У меня есть жест такой: махну рукой по всему гори-

зонту, и Лада летит, расширяя круги все дальше и дальше. И когда сделает стойку очень далеко и разглядит, что я не тороплюсь, возьмет и ляжет. Люблю я это гостю показать. Увидит он, что Лада легла по дупелю, затрясется весь от радости и бежать, а я его за рукав удерживаю, посмеиваюсь:

— Успокойся, успокойся, с этой собакой можешь не торопиться.

И даю закурить. И по дороге что-нибудь нарочно рассказываю забавное.

Вот убьет гость дупеля, положит в сетку жирного, доволен-предоволен, весь так и сияет.

— Ну и собака! — скажет.— А на какое самое большое расстояние от охотника она так может лечь и ждать?

— А хоть на полверсты,— говорю,— хоть на версту ляжет и ждет. Бывает, жарко, иду, не тороплюсь, а она заждется, скучно станет, возьмет и свернется калачиком. Прихожу, а из болота от ее тяжести вода выступит, и она в воде хоть бы что! Подивлюсь я, посмеюсь и говорю ей: «А вот ведь пословица говорится: «Под лежачий камень и вода не побежит...»

Гость расхохочется.

— Собака замечательная,— говорит,— вижу своими глазами и всему поверю: и что за полверсты ляжет, и даже что за версту. А вот что калачиком перед птицей свернется, этому, хоть убей меня, не поверю!

Ну, конечно, мне тоже не хочется сознаваться, что на радости немного увлекся, и в оправдание себе привожу гостю всем известный охотничий рассказ: все его знают, и все охотно еще раз выслушают. Наверно, и вы это слышали, как один охотник пришел на болото, и собака его сделала стойку по дупелю. В тот самый момент, когда охотник направился к собаке, ему подают телеграмму, и он, не помня себя, бежит к лошади. Долго спустя вспомнил, что оставил на болоте собаку на стойке по дупелю. И махнул рукой на собаку. Через год является на то же место с другой собакой, и вот видит: на том же месте, где прошлый год собака стояла, теперь в той же позе скелет ее стоит, и дупель тоже умер на месте и тоже превратился в скелет.

— Вот как,— говорю я гостю,— по-настоящему врут, а что Лада от скуки свернулась калачиком...

— Лучше я скелету поверю,— говорит гость,— чем чтобы в ожидании охотника перед самой птицей в воде собака свернулась калачиком.

ГУСИ С ЛИЛОВЫМИ ШЕЯМИ



Однажды колхозный мальчик Миша прочитал книгу о разных животных; особенно понравился ему рассказ об утятах, и ему самому захотелось написать рассказ о гусях. Недалеко был один колхоз, где на речке всегда бывает много гусей.

— Попробую! — сказал он.

И отправился по лесной зеленой дорожке к гусям.

Скоро нагнал его колхозник Осип.

— Хочу рассказ написать о гусях,— сказал ему Миша,— подвези меня к речке.

— Садись,— ответил Осип,— только не зевай, не забывай рук на грядке: в лесу едем, о дерево можно руку повредить.

И, подумав немного, сказал:

— О гусях написать можно много. Вот я тебе расскажу, случай был на реке. Пропало у Якова четыре гуся, а были у него гуси меченые, с лиловыми шеями. Яков был нечист на руку: он отбил четырех гусей на реке и загнал к себе на двор. Дома он разломал лиловый чернильный карандаш, сделал краску и намазал шеи гусям. Тогда четыре чужих гуся стали тоже с лиловыми шеями. Три дня Яков за ними ухаживал, кормил, поил и купал в корыте. Гуси делали вид, что привыкли, а когда Яков их выпустил, они пошли к тетке Анне. Раз и два — все так, гуси идут к тетке Анне. В третий раз люди заметили и не дали Якову загонять гусей к себе обратно.

— Если гуси идут на двор к тетке Анне,— сказали колхозники,— значит, это гуси ее.

— Добрые люди,— сказал им Яков,— у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями.

— Разве вот что с лиловыми шеями,— задумались добрые люди. И отпустили Якова.

— Всё? — спросил Миша.

— Чего тебе еще? — ответил Осип.— Так это было — рассказ об умном воре и о недогадливых людях: на то щука в море, чтобы карась не дремал.

— Никуда не годный рассказ! — сказал Миша.

И так возмутился, так взволновался неправдой, что забыл наказ Осипа не класть руку на грядку телеги. Мишин безымянный палец на левой руке попал между грядкой и дере вом.

— Скажи еще хорошо, что не всю руку размяло,— сказал Осип.

Он вымыл раздавленный палец в ручье, перевязал тря-

почкой и велел Мише бежать скорей обратно в колхоз.

Бедная Мишина мать! Как она испугалась, когда увидала Мишу в крови! Но хорошо, что в аптечке колхозной нашлась свинцовая примочка. Она сделала Мише компресс, перевязала палец чистым бинтом и велела ложиться в постель.

— Нет,— ответил Миша,— я буду сейчас писать рассказ о гусях.

И передал матери все, что слышал от Осипа.

— Так это было,— сказал Миша,— но разве можно писать о такой гадости? Я хочу написать, как надо.

— Правда,— ответила мать,— глупого и так у нас довольно, не надо об этом писать. Напиши, если можешь, как надо, я же прилягу сейчас, и ты потом меня разбуди: я сделаю на ночь тебе перевязку.

Миша писал рассказ, не обращая никакого внимания на боль. И когда кончил, то мать не стал будить. Довольный, улыбаясь, он сам перевязал себе очень хорошо палец и крепко уснул.

— Написал? — спросила его утром мать.

— Написал,— ответил Миша,— я написал как надо, а не как рассказывал Осип. Помнишь то место, когда добрые люди хотели остановить вора? «Раз гуси идут к Анне,— значит, это ее гуси»,— сказали добрые люди. «Добрые люди,— ответил им Яков,— у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями».— «Разве вот что с лиловыми шеями»,— сказали добрые люди. И только хотели было отпустить Якова, вдруг вдали, на реке, показываются какие-то четыре гуся с темными шеями, ближе, ближе плывут, и, наконец, все видят: гуси эти неведомые тоже с лиловыми шеями. И они так важно по-гусиному выходят на берег, стряхивают с себя воду, оправляются и, вытянув вперед лиловые шеи, направляются ко двору Якова.

Яков остолбенел и опустил хворостину, и гуси Анны, тоже важно, по-гусиному вытянув вперед лиловые шеи, пошли на двор к своей любимой хозяйке. И все стало ясно. «Вор! Вор! Вор!» — закричали колхозники. И выгнали вора из колхоза, и с тех пор нет в колхозе воров.

Вот как надо! — с гордостью сказал Миша.— А Осип хочет, чтобы у нас в колхозе было, как в море: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал».

Но мать не слышала конца рассказа Миши и не могла радоваться. Испуганно, изумленно глядела она на его руку. Совершенно черный, страшный ноготь с сочащейся из-под него

кровью был на его безымянном пальце, а указательный хорошо, туго был перевязан бинтом.

С таким волнением Миша писал свой рассказ, что боль свою забыл и сгоряча даже палец перевязал не тот. Ничего не помня от радости, он вместо больного, безымянного пальца перевязал указательный.

Так написал Миша свой первый рассказ.

ЗВЕРИ-КОРМИЛИЦЫ



Соболь — небольшой, меньше кошки, зверек. Водится он только у нас, в СССР, в сибирской тайге. В старину шкурки соболя были деньгами, и на них, как на золото, можно было покупать всякие товары. Да и теперь соболий мех — один из самых драгоценных в мире, и оттого охотники преследовали и уничтожали зверька, не заботясь о будущем. Даже на далекой Камчатке соболь начал исчезать и скоро, наверно, исчез бы навсегда с лица земли, как исчезло немало зверей, которых теперь мы знаем только по скелетам и чучелам в музеях.

К счастью, наука в советское время успела взять в свои руки соболиное дело. Соболей стали разводить в неволе. Теперь уже и под Москвой, на Пушкинской зооферме, соболи растут и размножаются сотнями.

И в Соловках, и в Пушкине, и на Урале я наблюдал с интересом жизнь соболей, и самое первое, на что я обратил свое внимание, была их внутренняя, страстно-хищная кровожадность и внешняя пушистость, гибкость и грация. Этот зверек вполне отвечает пословице: «Мягко стелет — жестко спать».

Однажды, наблюдая кормление соболей в Соловецком питомнике, я сказал заведующему питомником, ученому-звероводу:

— Если бы соболи хотя бы наполовину были так велики и сильны, как тигры, то благодаря своей ловкости, гибкости и хищности они бы всех тигров поели, как кроликов.

На эти слова зверовод ответил:

— Да, соболь — хищник примерный, но у нас был необыкновенный случай в питомнике, он доказывает, что даже у таких хищников бывает в жизни так, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверям другой породы.

И он рассказал действительно необыкновенный случай.

Было это у них в Соловецком питомнике, кажется, в 1929 году. Там жила в то время старая, но очень красивая соболюшка Муся. У нее должны были родиться соболята, и все служащие в питомнике волновались.

И как было не волноваться!

У соболей часто бывает, что старая самка родит и тут же сама кончается, истратив на эти последние роды все силы. Опасность гибели дорогой старушки или ее потомства увеличивалась еще тем, что наблюдать и помогать, когда надо, при рождении соболей невозможно: соболи посторонних не выносят. И вот придумали установить в клетке микрофон и отвести все звуки из клетки в кабинет ученого-зверовода точно так же, как отводят звуки со сцены в квартиры.

Перед письменным столом был установлен громкоговоритель, и, когда наступил день родов, зверовод сел за стол и стал дежурить.

В одиннадцать ночи из клетки Муси послышался первый стон, и в ту же минуту из другой комнаты, взволнованные, настороженные, с навостренными ушами, явились кормилицы: собаки и кошки. У таких собак и кошек в зверопитомнике отнимают детей, отчего у них собирается много молока, и животному очень хочется освободиться от него: хоть бы кого-нибудь покормить. В питомнике собаки-кормилицы кормят лисят, кошки — соболей. Собаки и кошки — кормилицы — бесшумно прокрались в комнату зверовода и, навострив уши, сели против громкоговорителя. Всю ночь, до восьми утра, все кормилицы, не стронувшись с места, слушали, как Муся долго облизывала новорожденных и как они пищали.

Зверовод все время записывал в журнал, отмечая каждый звук по часам.

Все кончилось благополучно для матери, но молодые, четыре соболенка, все погибли. Первое время после родов Муся была очень слаба, за жизнь ее сильно боялись и кормили только живыми новорожденными кроликами.

Когда прошло значительное время, Муся поправилась, стала есть даже рубленую конину с рисом и день ото дня становилась все веселей. Вот тут наблюдатели заметили, что молоко у соболюшки почему-то не исчезает. Об этом странном явлении сказали звероводу, и тот без всякого колебания решил, что раз молоко столько времени у матери не пропадает, значит, она кормит кого-то, значит, четырех мертвых соболят выбросили в свое время, а пятого проглядели, и он затаился

где-нибудь в подстилке. Подняли крышку клетки и с изумлением увидели, что Муся не соболенка кормила, а кролика, и он теперь был уже довольно большой. Как, почему из множества съеденных Мусей живых кроликов она избрала себе одного,— было непонятно. Скорее всего, маленькому счастливцу, пока хищница ела другого, удалось попить соболиного молока. Таким образом, хищница-соболюшка выкормила и воспитала кролика-грызуна.

Многих ученых-натуралистов я потом спрашивал: как могло это случиться, как это возможно?

Все они пожимали плечами и отвечали:

— Да, соболь — хищник самый ужасный, и случай в Соловецком питомнике необыкновенный: он показывает, что даже и у таких страшных хищников бывает, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверушкам, им вовсе чужим.

ПИКОВАЯ ДАМА



урица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя в борьбе и с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую злобу при защите детей, за ее клюв — пику на голове — Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году, случилось, мы недосмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного. Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять?

Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, не доглядев, то ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца. Так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: «Да цыплята ли это?»

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный...

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это — грач; с отломанным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках — хорош я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и, только завернул за овин, гляжу: передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и в ужасе, что она выклюнет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался — подумать только! — я радовался, что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными, светло-сумеречными ночами стали косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать, я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслажденью любезнейшей для охотника музыкой. Но вдруг где-то около деревни собака скололась, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (масти он желто-пегой в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаки, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире, настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки. «Лучше умру!» — подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пяту, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидал, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал, не помня себя, чащей и обдирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это?

Нет!

Я знал одного робкого человека: его смертельно оскорбили, он поднялся и вмиг уничтожил своего врага. Но... то был человек. У зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из лесу на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

— Ну и дела!

— Да какие же такие дела?

— Ой-ой, ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

— Ну и дела! Ну и дела!

И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из лесу, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врастяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца (поратая англо-русская порода), а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика...

Так бывает часто в борьбе, что все карты биты и остается какая-то одна, и уже тянет сонливая слабость стать жертвой и отдаться врагу: становится так, будто игра не стоит свеч и надо сдаваться и делаться жертвой. Бывает, враг все рассчитал, он знает даже три карты победы: вот тройка.

Тройка!

И тройка взяла.

Семерка!

Семерка взяла.

Туз!

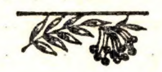
И нет: вместо туза дама пик.

Это было на глазах у всех косцов.

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица — и прямо в глаза ему. И он повертывается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину — и клюет и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.



Содержание

Для детей среднего и старшего школьного возраста

Михаил Михайлович Пришвин

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

Редактор **А. И. Стройло**
Художественный редактор **М. В. Таирова**
Технический редактор **Л. А. Фирсова**
Корректор **Т. А. Лебедева**

ИБ № 3841

Сдано в наб. 26.01.84. Подп. в печать 16.03.84. Формат $84 \times 108/_{32}$. Бумага офс. № 1, № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 1,68. Усл. кр.-отт. 1,94. Уч.-изд. л. 1,67. Тираж 1 500 000 экз. (2-й завод 500 001—1 500 000 экз.) Заказ 395. Цена 5 к. Изд. инд. ЛД-536.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Отпечатано с диапозитивов Книжной фабрики № 1, г. Электросталь Московской области, на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

5 к.



• Советская Россия •